
У той черты, где речь приглушена,
в преддверье странствий одиноких, дальных –
пожалуй, только вздох и тишина
превыше горьких слов исповедальных.

Когда любовь, и мудрость, и закон
обратно переплавлены в молчание,
и сердце колокольным языком
гремит в тумане, как гремят ключами,

как нищий по крыльцу стучит клюкой,
и несказанность словно несвобода –
молчание растёт до небосвода,
и ты его касаешься рукой.

Звонок

Он сказал: бросайте всё и езжайте к нам.
Железнодорожная травма. Ребёнок, двенадцать лет.
Машинист заметил поздно, рванул стоп-кран.

Пострадала рука. Другого хирурга нет.
Не приедете – повезём из района в Москву.
Это время и кровь. И пробки. И мёртвый час.
Больше некому. Во-первых, по старшинству,
Во-вторых – артерии, нервы. Кто делает лучше вас?

Кидаюсь к трубке; так сука Павлова ждёт по звонку еды.
Будь проклят билайн, нокиа и мой условный рефлекс.
Даже если сорваться – будет два с половиной часа езды
до нашей районки по объездной. Справа поле, а слева лес.
Это мой долгожданный отгул, мой нежный, последний
свет.

В гостинице на Белорусской,
он проездом, всего полдня,
он больше не врёт, у него давно уже куплен билет,
он больше не говорит, что якобы любит меня,

и что мне больница, работа, и прочие все дела,
когда я ждала – мне больше уже не придётся ждать,
над нами витают чужие разорванные тела,
и пахнет чужой любовью гостиничная кровать.
Но я не поеду, нет, никуда, вы слышите, никуда,
старая дура, держи своего последнего дурака.
Я вижу во сне рассечённые рельсы, обугленные провода.
И девочку лет двенадцати. И улыбка её легка.

Не повторю и не запомню,
что взять с меня ещё –
как бесконечный дождь запойный
по улицам течёт,

а в перерывах вой собачий,
и приглушённый смех,
о чём за дверью люди плачут,
укрытые от всех,

и, в тесном типовом жилище,
среди бетонных плит,
где никого никто не слышит,
никто не исцелит,

едва дрожат волокна света
в одном окне с торца,
как будто дёргается веко
под бровью мертвеца.

И я ищу глазами снова,
раз в сотый проходя.
И я не помню остального,
ни слёз, ни говора больного,
ни улиц, ни дождя.

Замуруй себя, да со всех сторон,
Чтоб они не слышали, как кричишь.
Чтобы с улицы – ни чужих похорон,
ни фанфар, ни выстрелов,
только тишь.

Там, где кровь была, чтоб стелился тромб.
Чтобы каждый угол был глух и слеп.
Чтоб не больно, слышишь, не больно чтоб!
Затвори, чтоб дом превратился в гроб,
в келью, в склеп.

Что в твоих устах? – только крик и страх,
так держи их, бешеных, взаперти.
Слышишь, ты, герой, голова в кустах!

Я не слышу.
Чаша моя пуста.
И пора за другой идти.

Весна в Петербурге

Говорят, что мы пережили
одну из самых холодных зим.

Ночь начиналась утром,
мы отогревали замёрзшие аккумуляторы,
ходили по льду Фонтанки,
наши глаза были залеплены снегом, а губы – ветром.

А сегодня птицы кричат,
и даже деревья на улице Беринга
разжимают сведённые судорогой пальцы.

Человек задремал
на прогретой солнцем скамейке.
Завтра снова похолодает,
но об этом даже подумать –
лень.

Верлибр

Он очень хрупкий,
но режет стекло
и в древесном огне не горит.

Как ни верти его,
как ни перекладывай из ладони в ладонь –
у него всегда отыщутся грани,
пусть даже асимметричные.

И неважно, как он получился:
кимберлитовый это верлибр,
свободнорождённый в земле,
или высеченный ударом
в столкновении небесных тел.

Но даже необработанный,
настоящий,
порой
содержит он рифму и ритм.

В настоящих верлибрах
всегда есть
небольшие изъяны.

Хотел рвануть через порог — душа на вынос...
А стал — не моцарт, не пророк. Так, просто, вырос.
Ни телекамер, ни газет. Не лез из кожи.
И твой сосед такой, как все, и ты такой же.

Не повезло, не повезло, не та эпоха.
Живёшь, мусолишь ремесло, (нет-нет, не плохо),
благословляешь божий дар, свой дом-теплицу.
И никаких вам траффальгар,
аустерлицев.

В кругах асфальтовых орбит — всё мимо, мимо.
А под горою куст горит,
неопалимо.
Зудят занозы мелких бед. Тропа всё уже.
А куст горит. Да он тебе
и не был нужен.

Внутри меня
живёт моё время —
больное, наивное, жестокое.
То время, когда я горланила
лучшие свои песни —
такие наивные, такие жестокие, больные.
То время, когда я влюблялась

в тех, кто на меня лишь похож:
в жестоких, в наивных, в больных.

А ты меня на дух не переносишь,
мои песни, мои воспоминания –
они раздражают тебя, выбешивают.
Ты бы предпочёл, чтоб меня не было вовсе.
Время моё тоже вытравливало меня.
Вы похожи с ним, как два брата.
И опять я сглатываю кровь,
захлёбываюсь от ударов,
и всё равно надеюсь, что меня приласкают

Когда уходит человек,
и комната гудит, немая,
ты в ней стоишь, осоловев,
и ничего не понимая,

но сразу замечаешь ты,
как всюду возникают сами
полупрозрачные следы
его нечаянных касаний:

салфетка, ручка, метроном
и чашка со следами чая.
Ты слышишь где-то за окном
ветвей неясное качанье –

их тронул человек живой.
Коснулся и ушёл, уехал.
А в комнате такое эхо.
Такое эхо, боже мой.